

Максим Горький

# Сказки об Италии



Максим Горький  
**Сказки об Италии**

«Public Domain»

1911-1913

## **Горький М. А.**

Сказки об Италии / М. А. Горький — «Public Domain»,  
1911-1913

В «Сказках об Италии» Горький в яркой поэтической форме раскрыл душу народа, показал «золотые россыпи» в характерах и поступках простых людей труда. Эти люди представлены как носители всего самого прекрасного и благородного. Им свойственно чувство классовой солидарности, у них высоко развит дух патриотизма и ответственности за судьбу своей родины.

## Содержание

I	5
II	8
III	11
IV	13
V	16
VI	17
VII	20
VIII	23
IX	27
X	32
XI	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

# Максим Горький

## Сказки об Италии

*Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь.<sup>1</sup>*  
*Андерсен*

### I

В Неаполе забастовали служащие трамвая: во всю длину Ривьеры Кияия вытянулась цепь пустых вагонов, а на площади Победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов – всё веселые и шумные, подвижные, как ртуть, неаполитанцы. Над их головами, над решеткой сада сверкает в воздухе тонкая, как шпага, струя фонтана, их враждебно окружает большая толпа людей, которым надо ехать по делам во все концы огромного города, и все эти приказчики, мастеровые, мелкие торговцы, швеи сердито и громко порицают забастовавших. Звучат сердитые слова, колкие насмешки, непрерывно мелькают руки, которыми неаполитанцы говорят так же выразительно и красноречиво, как и неугомонным языком.

С моря тянет легкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают веерами темно-зеленых ветвей, стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки – полуголые дети неаполитанских улиц – скачут, точно воробьи, наполняя воздух звонкими криками и смехом.

Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет, как орган; синие волны залива бьют в камень набережной, вторя ропоту и крикам гулками ударами, – точно бубен гудит.

Забастовщики угрюмо жмутся друг ко другу, почти не отвечая на раздраженные возгласы толпы, влезают на решетку сада, беспокойно поглядывая в улицы через головы людей, и напоминают стаю волков, окруженную собаками. Всем ясно, что эти люди, однообразно одетые, крепко связаны друг с другом непоколебимым решением, что они не уступят, и это еще более раздражает толпу, но среди нее есть и философы: спокойно покуривая, они увещивают слишком ретивых противников забастовки:

– Э, синьор! А как быть, если не хватает детям на макароны?

Группами, по два и по три, стоят щеголевато одетые агенты муниципальной полиции, следя за тем, чтобы толпа не затрудняла движения экипажей. Они строго нейтральны, с одинаковым спокойствием смотрят на порицаемых и порицающих и добродушно вышучивают тех и других, когда жесты и крики принимают слишком горячий характер. На случай серьезных столкновений в узкой улице вдоль стен домов стоит отряд карабинеров,<sup>2</sup> с коротенькими и легкими ружьями в руках. Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких плащах, с красными, как две струи крови, лампасами на брюках.

Перебранка, насмешки, упреки и увещивания – всё вдруг затихает, над толпой пронесется какое-то новое, словно примиряющее людей веяние, – забастовщики смотрят угрюмее и, в то же время, сдвигаются плотнее, в толпе раздаются возгласы: – Солдаты!

Слышен насмешливый и ликующий свист по адресу забастовщиков, раздаются крики приветствий, а какой-то толстой человек, в легкой серой паре и в панаме, начинает приплясывать, топая ногами по камню мостовой. Кондуктора и вагоновожатые медленно пробираются сквозь толпу, идут к вагонам, некоторые влезают на площадки, – они стали еще

<sup>2</sup> *Карабинер* – солдат или офицер военной полиции, выполняющей функции жандармерии.

угрюмое и в ответ на возгласы толпы – сурово огрызаются, заставляя уступать им дорогу. Становится тише.

Легким танцующим шагом с набережной Санта Лючия идут маленькие серые солдатики, мерно стуча ногами и механически однообразно размахивая левыми руками. Они кажутся сделанными из жести и хрупкими, как заводные игрушки. Их ведет красивый высокий офицер, с нахмуренными бровями и презрительно искривленным ртом, рядом с ним, подпрыгивая, бежит тучный человек в цилиндре и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчисленными жестами.

Толпа отхлынула от вагонов – солдаты, точно серые бусы, рассылаются вдоль их, останавливаясь у площадок, а на площадках стоят забастовщики.

Человек в цилиндре и еще какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивая руками, кричат:

– Последний раз... *Ultima volta!*<sup>3</sup> Слышите?

Офицер скучно крутит усы, наклонив голову; к нему, взмахнув цилиндром, подбегает человек и хрипло кричит что-то. Офицер искоса взглянул на него, выпрямился, выправил грудь, и – раздались громкие слова команды.

Тогда солдаты стали прыгать на площадки вагонов, на каждую по два, и в то же время оттуда посыпались вагоновожатые с кондукторами.

Толпе показалось это смешным – вспыхнул рев, свист, хохот, но тотчас – погас, и люди молча, с вытянутыми, посеревшими лицами, изумленно вытаращив глаза, начали тяжело отступать от вагонов, всей массой подвигаясь к первому.

И стало видно, что в двух шагах от его колес, поперек рельс, лежит, сняв фуражку с седой головы, вагоновожатый, с лицом солдата, он лежит вверх грудью, и усы его грозно торчат в небо. Рядом с ним бросился на землю еще маленький, ловкий, как обезьянка, юноша, вслед за ним, не торопясь, опускаются на землю еще и еще люди...

Толпа глухо гудит, раздаются голоса, пугливо зовущие мадонну, некоторые мрачно ругаются, взвизгивают, стонут женщины, и, как резиновые мячи, всюду прыгают пораженные зрелищем мальчишки.

Человек в цилиндре орет что-то рыдающим голосом, офицер смотрит на него и пожимает плечами, – он должен заместить вагоновожатых своими солдатами, но у него нет приказа бороться с забастовавшими.

Тогда цилиндр, окруженный какими-то угодливыми людьми, бросается в сторону карабинеров, – вот они тронулись, подходят, наклоняются к лежащим на рельсах, хотят поднять их.

Началась борьба, возня, но – вдруг вся серая, пыльная толпа зрителей покачнулась, взревела, взвыла, хлынула на рельсы, – человек в панаме сорвал с головы свою шляпу, подбросил ее в воздух и первый лег на землю рядом с забастовщиком, хлопнув его по плечу и крича в лицо его ободряющим голосом.

А за ним на рельсы стали падать точно им ноги подрезали – какие-то веселые шумные люди, люди, которых не было здесь за две минуты до этого момента. Они бросались на землю, смеясь, строили друг другу гримасы и кричали офицеру, который, потрясая перчатками под носом человека в цилиндре, что-то говорил ему, усмехаясь, встряхивая красивой головой.

А на рельсы всё сыпались люди, женщины бросали свои корзины и какие-то узлы, со смехом ложились мальчишки, свертываясь калачиком, точно озябшие собаки, перекатывались с боку на бок, пачкаясь в пыли, какие-то прилично одетые люди.

---

<sup>3</sup> Последний раз! (*Итал.*).

Пятеро солдат с площадки первого вагона смотрели вниз на груды тел под колесами и – хохотали, качаясь на ногах, держась за стойки, закидывая головы вверх и выгибаясь, теперь – они не похожи на жестяные заводные игрушки.

...Через полчаса по всему Неаполю с визгом и скрипом мчались вагоны трамвая, на площадках стояли, весело ухмыляясь, победители, и вдоль вагонов ходили они же, вежливо спрашивая:

– Бильетти?!

Люди, протягивая им красные и желтые бумажки, подмигивают, улыбаются, добродушно ворчат.

## II

В Генуе, на маленькой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа – преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы – члены муниципалитета, над их головами колышется тяжелое, искусно вышитое шелком знамя города, а рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копья на древках, шелестит шелк, и гудит, как хор, поющий вполголоса, торжественно настроенная толпа людей.

Над нею, на высоком пьедестале – фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и – победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами:

«Побеждают только верующие».

У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы, медь на солнце сверкает, точно золото.

Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, глухая работа винта в воде, звон цепей, свистки и крики – на площади тихо, душно в всё облито жарким солнцем. На балконах и в окнах домов – женщины, с цветами в руках, празднично одетые фигурки детей, точно цветы.

Свистит, подбегая к станции, локомотив – толпа дрогнула, точно черные птицы, взлетело над головами несколько измятых шляп, музыканты берут трубы, какие-то серьезные, пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево.

Тяжело и не торопясь толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу.

– Кого встречают?

– Детей из Пармы!

Там забастовка, в Парме. Хозяева не уступают, рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную.

Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей, они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях, мохнатыми, точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд – очень маленькие, пыльные, видимо, усталые. Их лица серьезные, но глаза блестят живо и ясно, и когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди,<sup>4</sup> – по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает, веселую рябью, улыбка удовольствия.

Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком, пред ними склоняются знамена, ревет медь труб, оглушая и ослепляя детей, – они несколько ошеломлены этим приемом, на секунду подаются назад и вдруг – как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и сотнями голосов, но звуком одной груди, крикнули:

– Viva Italia!<sup>5</sup>

– Да здравствует молодая Парма! – гремит толпа, опрокидываясь на них.

– Evviva Garibaldi!<sup>6</sup> – кричат дети, серым клином врезаясь в толпу и исчезая в ней.

В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки, оттуда сыплется на головы людей дождь цветов и веселые, громкие крики.

---

<sup>4</sup> Походный марш волонтеров-краснорубашечников Дж. Гарибальди в период войны за национальное освобождение и объединение Италии. Написан в 1860 г.; слова Л. Меркантини, музыка А. Оливьери.

<sup>5</sup> Да здравствует Италия! (*Итал.*).

<sup>6</sup> Да здравствует Гарибальди! (*Итал.*).

Всё стало праздничным, всё ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами.

Качаются знамена, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные темные лапы, ловя цветы и приветствуя, и всё гремит в воздухе непрерывный мощный крик!

– Viva il Socialismo!<sup>7</sup>

– Evviva Italia!

Почти все дети расхвачаны по рукам, они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых усатых людей; музыка едва слышна в шуме, смехе и криках.

В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу:

– Вы берете двоих, Аннита?

– Да. Вы тоже?

– И для безногой Маргариты одного...

Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб.

– В наше время об этом не думали! – говорит старик с птичьим носом и черной сигарой в зубах.

– А – так просто...

– Да! Это просто и умно.

Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее коней и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидав около себя двух ребят из Пармы, видимо, братьев, сделал грозное лицо, ошетинился, – они смотрели на него серьезно, – нахлобучил шляпу на глаза, развел руки, дети, прижавшись друг ко другу, нахмурились, отступая, старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он – встал, поправил шляпу и, решив, что сделал всё, что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь..

Горбатая и седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими серыми волосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и – плачет, отирая красные глаза концом выцветшей шали. Темная и уродливая, она так странно одинока среди возбужденной толпы людей...

Приплясывая, идет черноволосая гемуэзка, ведя за руку человека лет семи от роду, в деревянных башмаках и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головенкой, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она всё падает ему на лицо, женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется, мальчуган смотрит на нее, закинув голову, – весь улыбка, потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают.

Высокий человек в кожаном переднике, с голыми огромными руками, держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана, рыжего, как огонь:

– Понимаешь, – если это привьется... Нас трудно будет одолеть, а?

И густо, громко, торжественно хохочет и, подбрасывая свою маленькую ношу в синий воздух, кричит:

– Evviva Parma-a!<sup>8</sup>

Люди уходят, уводя и унося с собою детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет, веселая группа факино<sup>9</sup> и над ними благородная фигура человека, открывшего Новый Свет.

---

<sup>7</sup> Да здравствует социализм! (Итал.)

<sup>8</sup> Да здравствует Парма! (Итал.)

<sup>9</sup> Факкино – грузчик, носильщик.

А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни.

### III

Душный полдень, где-то только что бухнула пушка<sup>10</sup> – мягкий, странный звук, точно лопнуло огромное гнилое яйцо. В воздухе, потрясенном взрывом, едкие запахи города стали осязаемее, острее пахнет оливковым маслом, чесноком, вином и нагретой пылью.

Жаркий шум южного дня, покрытый тяжелым вздохом пушки, на секунду прижался к нагретым камням мостовых и, снова вскинувшись над улицами, потек в море широкой мутной рекой.

Город – празднично яркое и пестрое, как богато расшитая риза священника; в его страстных криках, трепете и стогах богослужебно звучит пение жизни. Каждый город – храм, возведенный трудами людей, всякая работа – молитва Будущему.

Солнце – в зените, раскаленное синее небо ослепляет, как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко вонзаясь в камень города и воду. Море блестит, словно шелк, густо расшитый серебром, и, чуть касаясь набережной сонными движениями зеленоватых теплых волн, тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья – солнце.

Пыльные, потные люди, весело и шумно перекликаясь, бегут обедать, многие спешат на берег и, быстро сбросив серые одежды, прыгают в море, – смуглые тела, падая в воду, тотчас становятся до смешного маленькими, точно темные крупинки пыли в большой чаше вина.

Шелковые всплески воды, радостные крики освеженного тела, громкий смех и визг ребятишек – всё это и радужные брызги моря, разбитого прыжками людей, – вздымается к солнцу, как веселая жертва ему.

На тротуаре в тени большого дома сидят, готовясь обедать, четверо мостовщиков – серые, сухие и крепкие камни. Седой старик, покрытый пылью, точно пеплом осыпан, прищурив хищный, зоркий глаз, режет ножом длинный хлеб, следя, чтобы каждый кусок был не меньше другого. На голове у него красный вязаный колпак с кистью, она падает ему на лицо, старик встряхивает большой, апостольской головой, и его длинный нос попутая сопит, раздуваются ноздри.

Рядом с ним на теплых камнях лежит, вверх грудью, бронзовый и черный, точно жук, молодец; на лицо ему прыгают крошки хлеба, он лениво щурит глаза и поет что-то вполголоса, – точно сквозь сон. А еще двое сидят, прислонясь спинами к белым стенам дома, и дремлют.

К ним идет мальчик с фьяской<sup>11</sup> вина в руке и небольшим узлом в другой, идет, вскинув голову, и кричит звонко, точно птица, не видя, что сквозь солому, которой обернута бутылка, падают на землю, кроваво сверкая, точно рубины, тяжелые капли густого вина.

Старик заметил это, положил хлеб и нож на грудь юноши, тревожно махая рукою, зовет мальчика:

– Скорее, слепой! Смотри – вино!

Мальчик приподнял фьяску в уровень с лицом, ахнул и быстро подбежал к мостовщикам – они все зашевелились, взволнованно закричали, ощупывая фьяску, а мальчишка стрелюю умчался куда-то во двор и столь же быстро выскочил оттуда с большим желтым блюдом в руках.

Блюдо поставили на землю, и старик внимательно льет в него красную живую струю, – четыре пары глаз любуются игрою вина на солнце, сухие губы людей жадно вздрагивают.

---

<sup>10</sup> В ряде городов Италии полдень отмечается орудийным выстрелом.

<sup>11</sup> *Фьяска* – оплетенная соломой бутылка для вина.

Идет женщина в бледно-голубом платье, на ее черных волосах золотистый кружевной шарф, четко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она ведет за руку маленькую кудрявую девочку; размахивая правой рукой с двумя цветками алой гвоздики в ней, девочка качается на ходу, распевая:

– О, ма, о, ма, о, миа ма-а...<sup>12</sup>

Остановясь за спиною старого мостовщика, замолчала, приподнялась на носки и через плечо старика серьезно смотрит, как течет вино в желтую чашу, течет и звучит, точно продолжая ее песню.

Девочка освободила руку из руки женщины, оборвала лепестки цветов и, высоко подняв ручонку, темную, точно крыло воробья, бросила алые цветы в чашу вина.

Четверо людей вздрогнули, сердито вскинули пыльные головы – девочка била в ладоши и смеялась, притопывая маленькими ногами, сконфуженная мать ловила ее руку, что-то говоря высоким голосом, мальчишка – хохотал, перегибаясь, а в чаше, по темному вину, точно розовые лодочки, плавали лепестки цветов.

Старик достал откуда-то стакан, зачерпнул вина вместе с цветами, тяжело поднялся на колени и, поднося стакан ко рту, успокоительно, серьезно сказал:

– Ничего, синьора! Дар ребенка – дар бога... Ваше здоровье, красивая синьора, и твое тоже, дитя! Будь красивой, как мать, и вдвое счастлива...

Сунул седые усы в стакан, прищурил глаза и медленными глотками, почмокивая, шевеля кривым носом, высосал темную влагу.

Мать, улыбаясь и кланяясь, пошла прочь, ведя девочку за руку, а та качалась, шаркая ножонками по камню, и кричала, шурясь:

– О, ма-а... о, миа, миа-а...

Мостовщики, устало поворачивая головы, смотрят на вино и вслед девочке, смотрят и, улыбаясь, быстрыми языками южан что-то говорят друг другу.

А в чаше, на поверхности темно-красного вина, качаются алые лепестки цветов.

Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки.

---

<sup>12</sup> О, ма, j, ма, о, миа та-а... – О, ма, о, ма, о моя ма-а... (Итал.).

## IV

Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом, темное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и все вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце; на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, хочется погладить ее рукою.

Около груды щебня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо смелое и ласковое.

Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

– Это, синьор, медаль за работу в Симплонском туннеле.<sup>13</sup>

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

– Э, всякая работа трудна, до времени, пока ее не полюбишь, а потом – она возбуждает и становится легче. Все-таки – да, было трудно!

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

– Было даже страшно, иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать – не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану, – земля там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости, – это испытано многими! Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой; это было очень страшно! Порою, при огне, вода становилась красной, и отец мой говорил мне: «Ранили мы землю, потопит, сожжет она всех нас своей кровью, завидишь!» Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы, плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень, – забываешь о фантазиях. Там всё было фантастично, дорогой синьор; мы, люди, – такие маленькие, и она, эта гора, – до небес, гора, которой мы сверлили чрево... это надо видеть, чтоб понять! Надо видеть черный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли, – надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

– Человек – умеет работать! – продолжал он с гордостью. – О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать, – непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает все чего хочет. Мой отец сначала не верил в это.

– «Прорезать гору насквозь из страны в страну, – говорил он, – это против бога, разделившего землю стенами гор, – бы увидите, что мадонна будет не с нами!» Он ошибся, мадонна со всеми, кто любит ее. Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

– «Дети бога», – это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек, – «дети бога, так нельзя бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной! Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца, и когда коснемся его, – оно сожжет нас, бросит в нас огонь, потому что сердце земли – огненное, это знают

---

<sup>13</sup> *Симплонский туннель* – туннель, соединяющий Швейцарию и Италию; проложен в Альпах в 1898–1906 годах (район перевала Симплон). Длина туннеля – 19,7 метра, ширина 5 метров.

все! Возделывать землю – это так, помогать ее родам – нам заповедано, а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать»...

Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук.

– Не один он думал так, и это верно было: чем дальше – тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И всё сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

– «Разве я не прав?» – говорил отец, со страхом в глазах и кашляя всё чаще, глуше... – «Разве я не прав? – говорил он. – Это непобедимо, земля!»

– И наконец – лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

– «Моя работа – кончена, Паоло, – сказал он мне однажды ночью. – Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе мадонна!» Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силою, что затрещали сухожилия.

– Взял за руку меня, привлек к себе и говорит – святая правда, синьор! – «Знаешь, Паоло, сын мой, я все-таки думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны,<sup>14</sup> найдем друг друга в горе, мы встретимся – ты веришь в это?»

Я – верил.

– «Хорошо, сын мой! Так и надо: всё надо делать с верой в благостный исход и в бога, который помогает, молитвами мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди – приди ко мне на могилу и скажи: отец – сделано! Чтобы я знал!»

– Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он работал в туннеле, очень просил, но это уже бред, я думаю...

– Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тринадцать недель после смерти отца – это был безумный день, синьор! О, когда мы услышали там, под землею, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землею – вы поймите, синьор, – под огромною тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу!

– Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие, с каждым днем они становились всё понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей – мы работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний, – это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово! И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врвался долгие месяцы!

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человеческими глазами, тихо и радостно продолжал:

– А когда наконец рушился пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами радости лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости, – о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую – нет, я не даром жил! Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали – и это было так хорошо, как сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю – в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину!

<sup>14</sup> Швейцарцы.

– Конечно, я пошел к отцу, о да! Конечно, – хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел: надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал, – не так ли?

– Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал, – как он желал этого:

– «Отец – сделано! – сказал я. – Люди – победили, Сделано, отец!»

## V

Молодой музыкант, пристально глядя в даль черными глазами, тихонько говорил:  
– Музыка, которую я хотел бы написать, такова:

«По дороге к большому городу не спеша идет мальчик.

Город лег на землю тяжелыми горами зданий, прижался к ней и стонет и глухо ворчит. Издали кажется, как будто он – только что разрушен пожаром, ибо над ним еще не угасло кровавое пламя заката и кресты его церквей, вершины башен, флюгера – раскалены докрасна.

Края черных туч тоже в огне, на красных пятнах зловеще рисуются угловатые куски огромных строений; там и тут, точно раны, сверкают стекла; разрушенный, измученный город – место неутомимого боя за счастье – истекает кровью, и она дымится, горячая, желтоватым удушливым дымом.

Мальчик идет в сумраке поля по широкой серой ленте дороги; прямая, точно шпага, она вонзается в бок города, неуклонно направленная могучей незримой рукою. Деревья по сторонам ее, точно незажженные факелы, их черные большие кисти неподвижны над молчаливою, чего-то ожидающей землей.

Небо покрыто облаками, звезд не видно, теней нет; поздний вечер печален и тих, только медленные и легкие шаги мальчика едва слышны в сумеречном, утомленном молчании засыпающих полей.

А вслед мальчику бесшумно идет ночь, закрывая черною мантией забвения даль, откуда он вышел.

Сгущаясь, сумрак прячет в теплом объятии своем покорно приникшие к земле белые и красные дома, сиротливо разбросанные по холмам. Сады, деревья, трубы – всё вокруг чернеет, исчезает, раздавленное тьмою ночи, – точно пугаясь маленькой фигурки с палкой в руке, прячась от нее или играя с нею.

Он же идет молча и спокойно смотрит на город, не ускоряя шага, одинокий, маленький, словно несущий что-то необходимое, давно ожидаемое всеми там, в городе, где уже тревожно загораются встречу ему голубые, желтые и красные огни.

Закат – погас. Расплавилась, исчезли кресты, флюгера и железные вершины башен, город стал ниже, меньше и плотнее прижался к немой земле.

Над ним вспыхнуло и растет опаловое облако, фосфорический, желтоватый туман неравномерно лег на серую сеть тесно сомкнутых зданий. Теперь город не кажется разрушенным огнем и облитым кровью, – неровные линии крыш и стен напоминают что-то волшебное, но – недостроенное, неоконченное, как будто тот, кто затеял этот великий город для людей, устал и спит, разочаровался и, бросив всё, – ушел или потерял веру и – умер.

А город – живет и охвачен томительным желанием видеть себя красиво и гордо поднятым к солнцу. Он стонет в бреду многогранных желаний счастья, его волнует страстная воля к жизни, и в темное молчание полей, окруживших его, текут тихие ручьи приглушенных звуков, а черная чаша неба всё полнее и полней наливается мутным, тоскующим светом.

Мальчик остановился, взмахнул головой, высоко подняв брови, спокойно, смелыми глазами смотрит вперед и, покачнувшись, пошел быстрее.

И ночь, следуя за ним, тихо, ласковым голосом матери сказала ему:

– Пора, мальчик, иди! Они – ждут...»

– ...Это, конечно, невозможно написать! – задумчиво улыбаясь, сказал молодой музыкант.

Потом, помолчав, сложил руки ладонями и воскликнул, негромко, тревожно и любовно:

– Пречистая дева Мария! Что его встретит?

## VI

В синем небе полудня тает солнце, обливая воду и землю жаркими лучами разных красок. Море дремлет и дышит опаловым туманом, синеватая вода блестит сталью, крепкий запах морской соли густо льется на берег.

Звенят волны, лениво оплескивая груды серых камней, перекатываются через их ребра, шуршат мелкою галькой; гребни волн невысоки, прозрачны, как стекло, и пены нет на них.

Гора окутана лиловой дымкой зноя, седые листья олив на солнце – как старое серебро, на террасах садов, одевших гору, в темном бархате зелени сверкает золото лимонов, апельсин, ярко улыбаются алые цветы гранат, и всюду цветы, цветы.

Любит солнце эту землю...

В камнях два рыбака: один – старик, в соломенной шляпе, с толстым лицом в седой щетине на щеках, губах и подбородке, глаза у него заплыли жиром, нос красный, руки бронзовые от загара. Высунув далеко в море гибкое удилище, он сидит на камне, свесив волосатые ноги в зеленую воду, волна, подпрыгнув, касается их, с темных пальцев падают в море тяжелые светлые капли.

За спиной старика стоит, опираясь локтем о камень, черноглазый смугляк, стройный и тонкий, в красном колпаке на голове, в белой фуфайке на выпуклой груди и в синих штанах, засученных по колени. Он щиплет пальцами правой руки усы и задумчиво смотрит в даль моря, где качаются черные полосы рыбацких лодок, а далеко за ними чуть виден белый парус, неподвижно тающий в зное, точно облако.

– Богатая синьора? – сильным голосом спрашивает старик, безуспешно подсекая.

Юноша тихо ответил:

– Мне кажется – да! Такая брошь, с большим синим камнем, серьги, и много колец, и часы... Думаю – американка...

– И красива?

– О да! Очень тонкая – правда, но такие глаза, как цветы, и – знаешь – маленький, немного открытый рот...

– Это – рот честной женщины и такой, что любит однажды в жизни.

– Так и мне кажется...

Старик взмахнул удилищем, посмотрел, прищурился, на пустой крючок и заворчал, усмехаясь:

– Рыба не глупее нас, нет...

– Кто же ловит в полдень? – спросил юноша, опускаясь на корточки.

– Я, – сказал старик, насаживая наживу. И, закинув лесу далеко в море, спросил:

– Катались до утра, ты сказал?

– Уже всходило солнце, когда мы вышли на берег, – охотно ответил молодой, глубоко вздохнув.

– Двадцать лир?

– Да.

– Она могла дать больше.

– Она много могла дать...

– О чем же говорил ты с нею?

Юноша печально и с досадой опустил голову.

– Она знает не более десяти слов, и мы молчали...

– Истинная любовь, – сказал старик, оборотись и обнажая широкой улыбкой белые зубы, – бьет в сердце, как молния, и нема, как молния, – знаешь?

Подняв большой камень, юноша хотел бросить его в море, размахнулся и – бросил назад, через плечо, говоря:

– Иногда совсем не понимаешь – зачем нужны людям разные языки?

– Говорят – этого не будет когда-то! – подумав, заметил старик.

На синей скатерти моря, в молочном тумане дали, скользит бесшумно, точно тень облака, белый пароход.

– В Сицилию! – сказал старик, кивая головой.

Достал откуда-то длинную и неровную черную сигару, разломил ее и, подавая через плечо одну половинку юноше, спросил:

– Что же ты думал, сидя с нею?

– Человек всегда думает о счастье...

– Оттого он и глуп всегда! – спокойно вставил старик.

Закурили. Синие струйки дыма потянулись над камнями в безветренном воздухе, полном сытного запаха плодородной земли и ласковой воды.

– Я ей пел, а она улыбалась...

– И?

– Но ты знаешь – я плохо пою.

– Да.

– Потом я опустил весла и смотрел на нее.

– Эге?

– Смотрел, говоря про себя: «Вот я, молодой и сильный, а тебе – скучно, полюби меня и дай мне жить хорошей жизнью!..»

– Ей – скучно?

– Кто ж поедет в чужую страну, если он не беден и ему весело?

– Браво!

– «Обещаю именем девы Марии, – думал я, – что буду добр с тобою и всем людям будет хорошо около нас...»

– Экко! – воскликнул старик, вскинув большую голову, и засмеялся басовитым смехом.

– «Буду верен тебе всегда...»

– Гм...

– Или – думал: «Поживем немного, я буду тебя любить, сколько ты захочешь, а потом ты дашь мне денег на лодку, снасти и на кусок земли, я ворочусь тогда в свой добрый край и всегда, всю жизнь буду хорошо помнить о тебе...»

– Это – не глупо...

– Потом, к утру – думал уже – что, пожалуй, ничего не надобно мне, не нужно денег, а только ее, хотя бы на одну эту ночь...

– Так – проще...

– На одну только ночь!..

– Экко! – сказал старик.

– Мне кажется, дядя Пьетро, что маленькое счастье – всегда честнее...

Старик молчал, поджав толстые бритые губы и пристально глядя в зеленую воду, а юноша тихонько и печально запел:

О, солнце мое...

– Да, да, – вдруг сказал старик, покачивая головой, – маленькое счастье – честнее, а большое – лучше... Бедные люди – красивее, а богатые – сильнее... И так всё... всё так!

Шуршат и плещут волны. Синие струйки дыма плавают над головами людей, как нимбы. Юноша встал на ноги и тихо поет, держа сигару в углу рта. Он прислонился плечом

к серому боку камня, скрестил руки на груди и смотрит в даль моря большими глазами мечтателя.

А старик – неподвижен, он опустил голову и, кажется, дремлет.

Лиловые тени в горах становятся гуще и ласковее.

– О, солнце мое! – поет юноша...!

Родилось солнце  
Еще прекрасней,  
Еще прекраснее, чем ты!  
О, солнце, солнце!  
Свети на грудь мою!..

Звенят веселые зеленые волны.

## VII

На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и, при помощи чумазого смазчика, почти внес к нам маленького кривого старика.

– Очень стар! – в голос сказали они, добродушно улыбаясь.

Но старик оказался бодрым; поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и, оглянув диваны зорким глазом, спросил:

– Позволите?

Ему дали место, он сел, вздохнул облегченно и, положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом.

– Далеко, дед? – спросил мой товарищ.

– О, только три станции! – охотно ответил кривой. – На свадьбу внука еду...

И через несколько минут словоохотливо рассказывал под шум колес поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день:

– Я – лигуриец, мы все очень крепкие, лигурийцы. Вот у меня тринадцать сыновей, четыре дочери, я уже сбиваюсь, считая внуков, это второй женится – хорошо, не правда ли?

И, гордо посмотрев на всех выцветшим, но еще веселым глазом, он тихонько засмеялся, говоря:

– Вот сколько дал я людей стране и королю!

– Как пропал глаз? О, это было давно, еще мальчишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике, у нас трудная земля, просит большого ухода: много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз; я не помню боли, но за обедом глаз выпал у меня – это было страшно, синьоры!.. Его вставили на место и приложили теплого хлеба, но глаз помер!

Старик крепко потер бурую, дряблую щеку, снова улыбаясь добродушно и весело.

– Тогда не было так много докторов и люди жили глупее, – о да! Может быть, они добрей были? А?

Теперь его одноглазое кожаное лицо, всё в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень, волосах, стало хитрым и ликующим.

– Когда живешь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли?

Он внушительно поднял вверх изогнутый темный палец, точно грозя кому-то.

– Я расскажу вам, синьоры, кое-что о людях...

– Когда умер отец – мне было тринадцать лет, – вы видите, какой я и теперь маленький? Но я был ловок и неутомим в работе – это всё, что оставил мне отец в наследство, а землю нашу и дом продали за долги. Так я и жил, с одним глазом и двумя руками, работая везде, где давали работу... Было трудно, но молодость не боится труда – так?

– В девятнадцать лет встретила девушка, которую мне суждено было любить, – такая же бедная, как сам я, она была крупная и сильнее меня, жила с матерью, больной старухой, и, как я, – работала где могла. Не очень красивая, но – добрая и умница. И хороший голос – о! Пела она, как артистка, а это уже – богатство! И я тоже не худо пел.

– «Женимся?» – сказал я ей.

– «Это будет смешно, кривой! – ответила она невесело. – Ни у тебя, ни у меня нет ничего – как будем жить?»

– Святая правда: ни у меня, ни у нее – ничего! Но – что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви; я настаивал и победил.

– «Да, пожалуй, ты прав, – сказала наконец Ида. – Если святая мать помогает тебе и мне теперь, когда мы живем отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе!»

– Мы пошли к священнику.

– «Это – безумие! – говорил священник. – Разве мало в Лигурии нищих? Несчастные люди, вы должны бороться с соблазнами дьявола, иначе – дорого заплатите за вашу слабость!»

– Молодежь коммуны смеялась над нами, старики осуждали нас. Но молодость – упряма и по-своему – умна! Настал день свадьбы, мы не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь.

– «Мы уйдем в поле! – сказала Ида. – Почему это плохо? Мать божия везде одинаково добра к людям».

– Так мы и решили: земля – постель наша, и пусть оденет нас небо!

– Отсюда начинается другая история, синьоры, прошу внимания, – это лучшая история моей долгой жизни! Рано утром, за день до свадьбы, старик Джиованни, у которого я много работал, сказал мне – так, знаете, сквозь зубы – ведь речь шла о пустаках!

– «Ты бы, Уго, вычистил старый овечий хлев и постлал туда соломы. Хотя там сухо и овцы больше года не были там, всё же нужно хорошо убрать хлев, если ты с Идой хочешь жить в нем!»

– Вот у нас и дом!

– Работаю я, пою – в дверях стоит столяр Констанцио, спрашивая:

– «Это тут будешь ты жить с Идой? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня ее, есть лишняя».

– А когда я шел к нему, сердитая Мария – лавочница – закричала:

– «Женятся, несчастные, не имея ни простыни, ни подушек, ничего! Ты совсем безумец, кривой! Пришли ко мне твою невесту...»

– А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Этторе Виано кричит ей с порога своего дома:

– «Спроси его – много ли он припас вина для гостей, э? Ах, люди, что может быть легкомысленнее их?»

На щеке старика в глубокой морщине засверкала веселая слеза, он закинул голову и беззвучно засмеялся, играя острым кадыком, трясая изношенной кожей лица и по-детски размахивая руками.

– О, синьоры, синьоры! – сквозь смех, задыхаясь, говорил он, – на утро дня свадьбы у нас было всё, что нужно для дома, – статуя мадонны, посуда, белье, мебель – всё, клянусь вам! Ида плакала и смеялась, я тоже, и все смеялись – нехорошо плакать в день свадьбы, и все наши смеялись над нами!..

– Синьоры! Это дьявольски хорошо иметь право назвать людей – наши! И еще более хорошо *чувствовать* их своими, близкими тебе, родными людьми, для которых твоя жизнь – не шутка, твое счастье – не игра!

– И была свадьба – э! Удивительный день! Вся коммуна смотрела на нас, и все пришли в наш хлев, который вдруг стал богатым домом... У нас было всё: вино, и фрукты, и мясо, и хлеб, и все ели, и всем было весело... Потому что, синьоры, нет лучше веселья, как творить добро людям, поверьте мне, ничего нет красивее и веселее, чем это!

– И священник был. «Вот, – говорил он, строго и хорошо, – вот люди, которые работали на всех вас, и вы позаботились о них, чтобы им стало легко в этот день, лучший день их жизни. Так и надо было сделать вам, ибо они работали для вас, а работа – выше медных и серебряных денег, работа всегда выше платы, которую дают за нее! Деньги – исчезают, работа – остается... Эти люди – и веселы и скромны, они жили трудно и не жаловались, они

будут жить еще труднее и не застонут – вы поможете им в трудный час. У них хорошие руки и еще лучше их сердца...»

– Он много лестного сказал мне, Иде и всей коммуне!..

Старик, торжествуя, оглядел всех помолодевшим глазом и спросил:

– Вот, синьоры, кое-что о людях, – это вкусно, не правда ли?

## VIII

Весна, ярко блестит солнце, люди веселы, и даже стекла в окнах старых каменных домов улыбаются тепло.

По улице маленького городка пестрым потоком льется празднично одетая толпа – тут весь город, рабочие, солдаты, буржуа, священники, администраторы, рыбаки, – все возбуждены весенним хмелем, говорят громко, много смеются, поют, и все – как одно здоровое тело – насыщены радостью жить.

Разноцветные зонтики, шляпы женщин, красные и голубые шары в руках детей, точно причудливые цветы, и всюду, как самоцветные камни на пышной мантии сказочного короля, сверкают, смеясь и ликуя, дети, веселые владыки земли.

Бледно-зеленая листва деревьев еще не распустилась, свернута в пышные комки и жадно пьет теплые лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе.

Впечатление такое, точно люди пережили свои несчастья, вчерашний день был последним днем тяжелой, всем надоевшей жизни, а сегодня все проснулись ясными, как дети, с твердой, веселой верою в себя – в непобедимость своей воли, пред которой всё должно склониться, и вот теперь дружно и уверенно идут к будущему.

И было странно, обидно и печально – заметить в этой живой толпе грустное лицо: под руку с молодой женщиной прошел высокий, крепкий человек; наверное – не старше тридцати лет, но – седоволосый. Он держал шляпу в руке, его круглая голова была вся серебряная, худое здоровое лицо спокойно и – печально. Большие, темные, прикрытые ресницами глаза смотрели так, как смотрят только глаза человека, который не может забыть тяжелой боли, испытанной им.

– Обрати внимание на эту пару людей, – сказал мне мой товарищ, – особенно на него: он пережил одну из тех драм, которые всё чаще разыгрываются в среде рабочих северной Италии.

И товарищ рассказал мне:

– Этот человек – социалист, редактор местной рабочей газетки, он сам – рабочий, маляр. Одна из тех натур, у которых знание становится верой, а вера еще более разжигает жажду знания. Ярый и умный антиклерикал, – видишь, какими глазами смотрят черные священники в спину ему!

– Лет пять тому назад он, будучи пропагандистом, встретил в одном из своих кружков девушку, которая сразу обратила на себя его внимание. Здесь женщины выучились верить молча и непоколебимо, священники развивали в них эту способность много веков и добились чего хотели, – кто-то верно сказал, что католическая церковь построена на груди женщины. Культ мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный культ; мадонна проще Христа, она ближе сердцу, в ней нет противоречий, она не грозит геенной – она только любит, жалеет, прощает, – ей легко взять сердце женщины в плен на всю жизнь.

– Но вот он видит девушку, которая умеет говорить, может спрашивать, и всегда в ее вопросах он чувствует, рядом с наивным удивлением перед его идеями, нескрываемое недоверие к нему, а часто – страх и даже отвращение. Пропагандисту-итальянцу приходится много говорить о религии, резко о папе и священниках, – каждый раз, когда он говорил об этом, он видел в глазах девушки презрение и ненависть к нему, если же она спрашивала о чем-нибудь – ее слова звучали враждебно и мягкий голос был насыщен ядом. Заметно было, что она знакома с литературой католиков, направленной против социализма, и что в этом кружке ее слово пользуется не меньшим вниманием, чем его.

– Здесь относятся к женщине значительно упрощеннее и грубее, чем в России, и – до последнего времени – итальянки давали много оснований для этого; не интересуясь ничем,

кроме церкви, они – в лучшем случае – чужды культурной работе мужчин и не понимают ее значения.

– Мужское самолюбие его было задето, слава искусного пропагандиста страдала в столкновениях с этой девушкой, он раздражался, несколько раз удачно высмеивал ее, но и она ему платила тем же, невольно возбуждая в нем уважение, заставляя его особенно тщательно готовиться к занятиям с кружком, где была она.

– Но рядом со всем этим он замечал, что каждый раз, когда ему приходится говорить о позорной современности, о том, как она угнетает человека, искажая его тело, его душу, когда он рисовал картины жизни в будущем, где человек станет внешне и внутренне свободен, – он видел ее перед собою другой: она слушала его речи с гневом сильной и умной женщины, знающей тяжесть цепей жизни, с доверчивой жадностью ребенка, который слышит волшебную сказку, и эта сказка в ладу с его, тоже волшебной сложной, душой.

– Это возбуждало в нем предчувствие победы над врагом, который может быть прекрасным товарищем.

– Почти год длилось состязание, не вызывая у них охоты сблизиться и поспорить один на один, но наконец он первый подошел к ней.

– «Синьорина – мой постоянный оппонент, – сказал он, – не находит ли она, что в интересах дела будет лучше, если мы познакомимся ближе?»

– Она охотно согласилась с ним, и почти с первых слов они вступили в бой друг с другом: девушка яростно защищала церковь как место, где замученный человек может отдохнуть душой, где, пред лицом доброй мадонны, – все равны и все равно жалки, несмотря на разность одежды; он возражал, что не отдых нужен людям, а борьба, что невозможно гражданское равенство без равенства материальных благ и что за спиной мадонны прячется человек, которому выгодно, чтобы люди были несчастны и глупы.

– С того времени эти споры наполнили всю их жизнь, каждая встреча была продолжением одной и той же страстной беседы, и с каждым днем всё более ясно обнаруживалась роковая непримиримость их верований.

– Для него жизнь – борьба за расширение знаний, борьба за подчинение таинственных энергий природы человеческой воле, все люди должны быть равносильно вооружены для этой борьбы, в конце которой нас ожидает свобода и торжество разума – самой могучей из всех сил и единственной силы мира, сознательно действующей. А для нее жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому, подчинением разума той воле, законы и цели которой знает только священник.

– Пораженный, он спрашивал:

– «Но зачем же вы ходите на мои лекции, чего вы ждете от социализма?»

– «Да, я знаю, что грешу и противоречу себе! – грустно сознавалась она. – Но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей!»

– Она была не очень красива – тонкая, с умным личиком, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров; она работала на фабрике шёлка, жила со старухой матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала веселой, не шумно, но обаятельно; любила музеи и старые церкви, восхищалась картинами, красотой вещей и, глядя на них, говорила:

– «Как странно думать, что эти прекрасные вещи когда-то были заперты в домах частных людей и кто-то один имел право пользоваться ими! Красивое должно видеть все, только тогда оно живет!»

– Она часто говорила так странно, и ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе ее, они напоминали стон раненого. Он чувствовал, что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания любовью матери; он терпеливо ждал, когда его вера зажжет ей сердце и тихая любовь преобразится в страсть,

ему казалось, что девушка слушает его речи всё внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним. И всё пламеннее он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека, – народа, человечества – из старых цепей, ржавчина которых въелась в души и отемняет, отравляет их.

– Однажды, провожая ее домой, он сказал ей, что любит ее, хочет, чтобы она была его женой, и – был испуган тем впечатлением, которое вызвали в ней его слова! пошатнувшись, точно он ударил ее, широко раскрыв глаза, бледная, она прислонилась спиной к стене, спрятав руки, и, глядя в лицо его, почти с ужасом сказала:

– «Я догадывалась, что это так, я почти чувствовала это, потому что сама давно люблю вас, но – боже мой, – что же будет теперь?»

– «Начнутся дни счастья твоего и моего, дни нашей общей работы!» – воскликнул он.

– «Нет, – сказала девушка, опустив голову. – Нет! Нам не надо говорить о любви».

– «Почему?»

– «Ты станешь венчаться в церкви?» – тихо спросила она.

– «Нет!»

– «Тогда – прощай!»

– И она быстро пошла прочь от него.

– Он догнал ее, стал уговаривать, она выслушала его молча, не возражая, потом Сказала:

– «Я, моя мать и отец – все верующие и так умрем. Брак в мэрии – не брак для меня: если от такого брака родятся дети, – я знаю, – они будут несчастны. Только церковный брак освящает любовь, только он дает счастье и покой».

– Ему стало ясно, что она не скоро уступит, он же, конечно, не мог уступить. Они разошлись, прощаясь, девушка сказала:

– «Не станем мучить друг друга, не ищи встреч со мною! Ах, если бы ты уехал отсюда! Я – не могу, я так бедна...»

– «Я не дам никаких обещаний», – ответил он.

– И началась борьба сильных людей: они встречались, конечно, и даже более часто, чем прежде, встречались, потому что искали встреч, надеясь, что один из двух не вытерпит мучений неудовлетворенного и всё разгоравшегося чувства. Их встречи были полны отчаяния и тоски, после каждого свидания с нею он чувствовал себя разбитым и бессильным, она – в слезах шла исповедоваться, а он знал это, и ему казалось, что черная стена людей в тонзурах становится всё выше, несокрушимее с каждым днем, растет и разъединяет их насмерть.

– Однажды в праздник, гуляя с нею в поле за городом, он сказал ей – не угрожая, а просто думая вслух:

– «Знаешь, мне кажется иногда, что я могу убить тебя...»

– Она промолчала.

– «Ты слышала, что я сказал?»

Ласково взглянув в лицо ему, она ответила:

– «Да».

– И он понял, что она умрет, но не уступит ему. До этого «да» он порою обнимал и целовал ее, она боролась с ним, но сопротивление ее слабело, и он мечтал уже, что однажды она уступит, и тогда ее инстинкт женщины поможет ему победить ее. Но теперь он понял, что это была бы не победа, а порабощение, и с той поры перестал будить в ней женщину.

– Так ходил он с нею в темном круге ее представлений о жизни, зажигал пред нею все огни, какие мог зажечь, но – как слепая – она слушала его с мечтательной улыбкой и не верила ему.

– Однажды она сказала:

– «Я понимаю иногда, что всё, что ты говоришь, – возможно, но я думаю, это потому, что я люблю тебя! Я понимаю, но – не верю, не могу! И когда ты уходишь, всё твое уходит с тобой».

– Это продолжалось почти два года, и вот девушка заболела; он бросил работу, перестал заниматься делами организации, наделал долгов и, избегая встреч с товарищами, ходил около ее квартиры или сидел у постели ее, наблюдая, как она сгорает, становясь с каждым днем всё прозрачнее, и как всё ярче пылает в глазах ее огонь болезни.

– «Говори мне о будущем», – просила она его.

– Он говорил о настоящем, мстительно перечисляя всё, что губит нас, против чего он будет всегда бороться, что надо вышвырнуть вон из жизни людей, как темные, грязные, изношенные лохмотья.

– Она слушала и, когда ей было нестерпимо больно, останавливала речь, касаясь его руки и умоляюще глядя в глаза ему.

– «Я – умираю?» – спросила она его однажды, много дней спустя после того, как доктор сказал ему, что у нее скоротечная чахотка и положение ее безнадежно.

– Он не ответил ей, опустив глаза.

– «Я знаю, что скоро умру, – сказала она. – Дай мне руку».

– И, когда он протянул руку ей, она, поцеловав ее горячими губами, сказала:

– «Прости меня, я виновата перед тобою, я ошиблась и измучила тебя. Я вижу теперь, когда убита, что моя вера – только страх пред тем, чего я не могла понять, несмотря на свои желания и твои усилия. Это был страх, но он в крови моей, я с ним рождена. У меня свой – или твой – ум, но чужое сердце, ты прав, я это поняла, но сердце не могло согласиться с тобой...»

– Через несколько дней она умерла, а он посидел за время агонии ее, – посидел в двадцать семь лет.

– Недавно он женился на единственной подруге той девушки, его ученице; это они идут на кладбище, к той, – они каждое воскресенье ходят туда, положить цветы на могилу ее.

– Он не верит в свою победу, убежден, что, говоря ему – «ты прав!» – она лгала, чтобы утешить его. Его жена думает так же, оба они любовно чтят память о ней, и эта тяжелая история гибели хорошего человека, возбуждая их силы желанием отомстить за него, придает их совместной работе неутомимость и особенный, широкий, красивый характер.

...Льет под солнцем живая, празднично пестрая река людей, веселый шум сопровождает ее течение, дети кричат и смеются; не всем, конечно, легко и радостно, наверное, много сердец туго сжаты темной скорбью, много умов истерзаны противоречиями, но – все мы идем к свободе, к свободе!

И чем дружнее – всё быстрее пойдем!

## IX

Прославим женщину – Мать, неиссякаемый источник всё побеждающей жизни!

Здесь пойдет речь о железном Тимур-ленге,<sup>15</sup> хромом барсе, о Сахиб-и-Кирани – счастливым завоевателе, о Тамерлане, как называли его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир.

Пятьдесят лет ходил он по земле, железная стопа его давила города и государства, как нога слона муравейники, красные реки крови текли от его путей во все стороны; он строил высокие башни из костей побежденных народов; он разрушал жизнь, споря в силе своей со Смертью, он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира; страшный человек – он хотел отнять у нее все жертвы – да издохнет она с голода и тоски!

С того дня, как умер сын его Джигангир и народ Самарканда встретил победителя злых джеттов<sup>16</sup> одетый в черное и голубое, посыпав головы свои пылью и пеплом, с того дня и до часа встречи со Смертью в Отраре,<sup>17</sup> где она поборола его, – тридцать лет Тимур ни разу не улыбнулся – так жил он, сомкнув губы, ни пред кем не склоняя головы, и сердце его было закрыто для сострадания тридцать лет!

Прославим в мире женщину – Мать, единую силу, пред которой покорно склоняется Смерть! Здесь будет сказана правда о Матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб Смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли.

Вот как это было: пировал Тимур-бек в прекрасной долине Канигула, покрытой облаками роз и жасмина, в долине, которую поэты Самарканда называли «Любовь цветов» и откуда видны голубые минареты великого города, голубые купола мечетей.

Пятнадцать тысяч круглых палаток раскинуто в долине широким веером, все они – как тюльпаны, и над каждой – сотни шелковых флагов трепещут, как живые цветы.

А в середине их – палатка Гуругана-Тимура<sup>18</sup> – как царица среди своих подруг. Она о четырех углах, сто шагов по сторонам, три копья в высоту, ее середина – на двенадцати золотых колоннах в толщину человека на вершине ее голубой купол, вся она из черных, желтых, голубых полос шелка, пятьсот красных шнуров прикрепили ее к земле, чтобы она не поднялась в небо, четыре серебряных орла по углам ее, а под куполом, в середине палатки, на возвышении, – пятый, сам непобедимый Тимур-Гуруган, царь царей.

На нем широкая одежда из шелка небесного цвета, ее осыпают зерна жемчуга – не больше пяти тысяч крупных зерен, да! На его страшной седой голове белая шапка с рубином на острой верхушке, и качается, качается – сверкает этот кровавый глаз, озирая мир.

Лицо Хромого, как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз; его глаза узки, но они видят всё, и блеск их подобен холодному блеску царамута, любимого камня арабов, который неверные зовут изумрудом и который убивает падучую болезнь. А в ушах царя – серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки.

На земле, на коврах, каких больше нет, – триста золотых кувшинов с вином и всё, что надо для пира царей, сзади Тимура сидят музыканты, рядом с ним – никого, у ног его – его

---

<sup>15</sup> *Тимур-ленг* (Тамерлан) – прозвище Тимура (1336–1405).

<sup>16</sup> *Джетты* – жители Моголистана, включавшего в себя Восточный Туркестан, Семиречье и Джунгарию.

<sup>17</sup> Тимур умер во время похода к границам Китая, когда его армия прибыла в Отрар.

<sup>18</sup> Тимур носил титул Гуругана – «зятя», который давался тому, кто женился на женщине из рода Чингисхана, или, получив власть в борьбе, женился на наследнице двух ханских родов.

кровные, цари и князья, и начальники войск, а ближе всех к нему – пьяный Кермани-поэт,<sup>19</sup> тот, который однажды, на вопрос разрушителя мира:

– Кермани! Сколько б ты дал за меня, если б меня продавали? – ответил сеятелю смерти и ужаса:

– Двадцать пять аскеров.

– Но это цена только моего пояса! – вскричал удивленный Тимур.

– Я ведь и думаю только о поясе, – ответил Кермани, – только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша!

Вот как говорил поэт Кермани с царем царей, человеком зла и ужаса, и да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимура.

Прославим поэтов, у которых один бог – красиво сказанное, бесстрашное слово правды, вот кто бог для них – навсегда!

И вот, в час веселья, разгула, гордых воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пестрые шуты, боролись силачи, изгибались канатные плясуны, заставляя думать, что в их телах нет костей, состязаясь в ловкости убивать, фехтовали воины и шло представление со слонами, которых окрасили в красный и зеленый цвета, сделав этим одних – ужасными и смешными – других, – в этот час радости людей Тимура, пьяных от страха пред ним, от гордости славой его, от усталости побед, и вина, и кумыса, – в этот безумный час, вдруг, сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победителя Баязета-султана<sup>20</sup> долетел крик женщины, гордый крик орлицы, звук, знакомый и родственный его оскорбленной душе, – оскорбленной Смертью и потому жестокой к людям и жизни.

Он приказал узнать, кто там кричит голосом без радости, и ему сказали, что явилась какая-то женщина, она вся в пыли и лохмотьях, она кажется безумной, говорит по-арабски и требует – она требует! – видеть его, повелителя трех стран света.

– Приведите ее! – сказал царь.

И вот пред ним женщина – босая, в лоскутках выцветших на солнце одежд, черные волосы ее были распущены, чтобы прикрыть голую грудь, лицо ее, как бронза, а глаза повелительны, и темная рука, протянутая Хромому, не дрожала.

– Это ты победил султана Баязета? – спросила она.

– Да, я. Я победил многих и его и еще не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина?

– Слушай! – сказала она. – Что бы ты ни сделал, ты – только человек, а я – Мать! Ты служишь смерти, я – жизни. Ты виноват предо мной, и вот я пришла требовать, чтоб ты искупил свою вину, – мне говорили, что девиз твой «Сила – в справедливости»,<sup>21</sup> – я не верю этому, но ты должен быть справедлив ко мне, потому что я – Мать!

Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать за дерзостью слов силу их, – он сказал:

– Сядь и говори, я хочу слушать тебя!

Она села – как нашла удобным – в тесный круг царей, на ковер, и вот что рассказала она:

<sup>19</sup> Кермани – придворный поэт Тимура.

<sup>20</sup> Баязет-султан – Баязид I, по прозвищу Йылдырым – «Молния» (1347–1402). В битве Тимура и Баязида при Анкаре 20 июля 1402 г. османское войско Баязида было разгромлено, Баязид захвачен в плен, где вскоре и умер.

<sup>21</sup> «Сила – в справедливости»... – В автобиографии Тимура, в числе двенадцати принципов, которым он всегда следовал, называется прежде всего беспристрастие – справедливость. «Я ко всем относился одинаково строго и справедливо, но делая никакого различия...» («Автобиография Тамерлана». Ташкент, 1894, стр. 5; см. также: «Уложение Тимура (Тамерлана)». Казань, 1894, стр. 29).

– Я – из-под Салерно, это далеко, в Италии, ты не знаешь где! Мой отец – рыбак, мой муж – тоже, он был красив, как счастливый человек, – это я поила его счастьем! И еще был у меня сын – самый прекрасный мальчик на земле...

– Как мой Джигангир, – тихо сказал старый воин.

– Самый красивый и умный мальчик – это мой сын! Ему было шесть лет уже, когда к нам на берег явились сарацины<sup>22</sup> – пираты, они убили отца моего, мужа и еще многих, а мальчика похитили, и вот четыре года, как я его ищу на земле. Теперь он у тебя, я это знаю, потому что воины Баязета схватили пиратов, а ты – победил Баязета и отнял у него всё, ты должен знать, где мой сын, должен отдать мне его!

Все засмеялись, и сказали тогда цари – они всегда считают себя мудрыми!

– Она – безумна! – сказали цари и друзья Тимура, князя и военачальники его, и все смеялись.

Только Кермани смотрел на женщину серьезно, и с великим удивлением Тамерлан.

– Она безумна как Мать! – тихо молвил пьяный поэт Кермани; а царь – враг мира – сказал:

– Женщина! Как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса? Почему звери и люди – которые часто злее злейших зверей – не тронули тебя, ведь ты шла, даже не имея оружия, единственного друга беззащитных, который не изменяет им, доколе у них есть сила в руках? Мне надо знать всё это, чтобы поверить тебе и чтобы удивление пред тобою не мешало мне понять тебя! Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери, – вот что насыщает нас любовью к жизни!

Сказала она Тимур-ленгу:

– Море я встретила только одно, на нем было много островов и рыбацких лодок, а ведь если ищешь любимое – дует попутный ветер. Реки легко переплыть тому, кто рожден и вырос на берегу моря. Горы? – я не заметила гор.

Пьяный Кермани весело сказал:

– Гора становится долиной, когда любишь!

– Были леса по дороге, да, это – было! Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки, с головой, опущенной к земле, и дважды смотрели на меня барсы, глазами, как твои. Но ведь каждый зверь имеет сердце, я говорила с ними, как с тобой, они верили, что я – Мать, и уходили, вздыхая, – им было жалко меня! Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их не хуже, чем люди?

– Так, женщина! – сказал Тимур. – И часто – я знаю – они любят сильнее, борются упорнее, чем люди!

– Люди, – продолжала она, как дитя, ибо каждая Мать – сто раз дитя в душе своей, – люди – это всегда дети своих матерей, – сказала она, – ведь у каждого есть Мать, каждый чей-то сын, даже и тебя, старик, ты знаешь это, – родила женщина, ты можешь отказаться от бога, но от этого не откажешься и ты, старик!

– Так, женщина! – воскликнул Кермани, бесстрашный поэт. – Так, – от сборища быков – телят не будет, без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без Матери – нет ни поэта, ни героя!

И сказала женщина:

– Отдай мне моего ребенка, потому что я – Мать и люблю его!

---

<sup>22</sup> Сарацины – древнее название жителей Аравии, а позднее, в период крестовых походов, – всех арабов-мусульман.

Поклонимся женщине – она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса, который был умерщвлен злыми, но – как сказал Шерифэддин<sup>23</sup> – он еще воскреснет и придет судить живых и мертвых, в Дамаске это будет, в Дамаске!

Поклонимся Той, которая, неумолимо родит нам великих! Аристотель сын Ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер<sup>24</sup> и слепой Гомер – это всё Ее дети, все они пили Ее молоко, и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана, – вся гордость мира – от Матерей!

И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур-Гуруган, и долго молчал, а потом сказал ко всем:

– Мен тангри кули Тимур! Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот – жил я, уже много лет, земля стонет подо мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этою рукой, – для того уничтожаю, чтобы отомстить ей за сына моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего! Боролись со мною за царства и города, но – никто, никогда – за человека, и не имел человек цены в глазах моих, и не знал я – кто он и зачем на пути моем? Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его: «О Баязет, как видно – пред богом ничто государства и люди, смотри – он отдает их во власть таких людей, каковы мы: ты – кривой, я – хром!» Так сказал я ему, когда его привели ко мне в цепях и он не мог стоять под тяжестью их, так сказал я, глядя на него в несчастье, и почувствовал жизнь горькою, как полынь, трава развалин!

– Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот – сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина, – она любит, и любовь помогла ей узнать, что ребенок ее – искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми и герои – слабыми? О, Джигангир, огонь моих очей, может быть, тебе суждено было согреть землю, засеять ее счастьем – я хорошо полил ее кровью, и она стала тучной!

Снова долго думал бич народов и сказал наконец!

– Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Триста всадников отправятся сейчас же во все концы земли моей, и пусть найдут они сына этой женщины, а она будет ждать здесь, и я буду ждать вместе с нею, тот же, кто воротится с ребенком на седле своего коня, он будет счастлив – говорит Тимур! Так, женщина?

Она откинула с лица черные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой:

– Так, царь!

Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей, а веселый поэт Кермани говорил, как дитя, с большой радостью:

Что прекрасней песен о цветах и звездах?  
Всякий тотчас скажет: песни о любви!  
Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?  
И влюбленный скажет: та, кого люблю!

Ах, прекрасны звезды в небе полуночи – знаю!  
И прекрасно солнце в ясный полдень лета – знаю!  
Очи моей милой всех цветов прекрасней – знаю!  
И ее улыбка ласковее солнца – знаю!

---

<sup>23</sup> Шерифэддин – по-видимому, Шериф-Эддин-Али, персидский историк XV века.

<sup>24</sup> Искандер – арабизированное имя Александра Македонского.

Но еще не спета песня всех прекрасней,  
Песня о начале всех начал на свете,  
Песнь о сердце мира, о волшебном сердце  
Той, кого мы, люди, Матерью зовем!

И сказал Тимур-ленг своему поэту:

– Так, Кермани! Не ошибся бог, избрав твои уста для того, чтоб возвещать его мудрость!

– Э! Бог сам – хороший поэт! – молвил пьяный Кермани.

А женщина улыбалась, и улыбались все цари и князья, военачальники и все другие дети, глядя на нее – Мать!

Всё это – правда; все слова здесь – истина, об этом знают наши матери, спросите их, и они скажут:

– Да, всё это вечная правда, мы – сильнее смерти, мы, которые непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев, мы, кто сеет в нем всё, чем он славен!

## Х

Знойный день, тишина; жизнь застыла в светлом покое, небо ласково смотрит на землю голубым ясным оком, солнце – огненный зрачок его.

Море гладко выковано из синего металла, пестрые лодки рыбаков неподвижны, точно впаяны в полукруг залива, яркий, как небо. Пролетит чайка, лениво махая крыльями, – вода покажет другую птицу, белее и красивее той, что в воздухе.

Мреет даль; там в тумане тихо плывет – или, раскален солнцем, тает – лиловый остров, одинокая скала среди моря,<sup>25</sup> ласковый самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива.

Изрезанный уступами каменистый берег спускается к морю, весь он кудрявый и пышный в темной листве винограда, апельсиновых деревьев, лимонов и фигов, весь в тусклом серебре листвы олив. Сквозь поток зелени, круто падающий в море, приветливо улыбаются золотые, красные и белые цветы, а желтые и оранжевые плоды напоминают о звездах в безлунную жаркую ночь, когда небо темно, воздух влажен.

В небе, море и душе – тишина, хочется слышать, как всё живое безмолвно поет молитву богу-Солнцу.

Между садов вьется узкая тропа, и по ней, тихо спускаясь с камня на камень, идет к морю высокая женщина в черном платье, оно выгорело на солнце до бурых пятен, и даже издали видны его заплаты. Голова ее не покрыта – блестит серебро седых волос, мелкими кольцами они осыпают ее высокий лоб, виски и темную кожу щек; эти волосы, должно быть, невозможно причесать гладко.

Лицо у нее резкое, суровое, увидев однажды – его запомнишь навсегда, есть что-то глубоко древнее в этом сухом лице, а если встретишь прямой и темный взгляд ее глаз – невольно вспоминаются знойные пустыни востока, Дебора<sup>26</sup> и Юдифь.<sup>27</sup>

Наклонив голову, она вяжет что-то красное; сверкает сталь крючка, клубок шерсти спрятан где-то в одежде, но кажется, что красная нить исходит из груди этой женщины. Тропинка крута и капризна, слышно, как шуршат, осыпаясь, камни, но эта седая спускается так уверенно, как будто ноги ее видят путь.

Вот что рассказывают про этого человека: она вдова, муж ее, рыбак, вскоре после свадьбы уехал ловить рыбу и не вернулся, оставив ее с ребенком под сердцем.

Когда ребенок родился, она стала прятать его от людей, не выходила с ним на улицу, на солнце, чтобы похвастаться сыном, как это делают все матери, держала его в темном углу своей хижины, кутая в тряпки, и долгое время никто из соседей не видел, как сложен новорожденный, – видели только его большую голову и огромные неподвижные глаза на желтом лице. Заметили также, что она, здоровая и ловкая, боролась раньше с нуждой неутомимо, весело, умея внушить бодрость духа и другим, а теперь стала молчаливой, всегда о чем-то думала, хмурясь и глядя на всё сквозь туман печали странным взглядом, который как будто спрашивал о чем-то.

Немного понадобилось времени для того, чтобы все узнали ее горе: ребенок родился уродом, вот почему она прятала его, вот что угнетало ее.

<sup>25</sup> Остров Капри, площадью в 10,4 кв. км; расположен у южного входа в Неаполитанский залив (Тирренское море).

<sup>26</sup> *Дебора* (точнее: Девора) – мифическая героиня; согласно библейской легенде, объединила разрозненные израильские племена в Палестине и возглавила борьбу с хананеями.

<sup>27</sup> *Юдифь* (или Иудифь) – героиня ветхозаветного апокрифа, вошедшего в «Книгу Иудифи». Согласно апокрифу, Юдифь, чтобы спасти иудейский город Ветлюя, осажденный войском вавилонского царя Навуходоносора, проникла во вражеский лагерь, прельстила своей красотой ассирийского полководца Олоферна и отрубила ему голову его же мечом.

Тогда соседи сказали ей, что, конечно, они понимают, как стыдно женщине быть матерью уродца; никому, кроме мадонны, не известно, справедливо ли наказана она этой жестокой обидой, однако ребенок не виноват ни в чем и она напрасно лишает его солнца.

Она послушала людей и показала им сына – руки и ноги у него были короткие, как плавники рыбы, голова, раздутая в огромный шар, едва держалась на тонкой, дряблой шее, а лицо – точно у старика, всё в морщинах, на нем пара мутных глаз и большой рот, растянутый в мертвую улыбку.

Женщины плакали, глядя на него, мужчины, брезгливо сморщив лица, угрюмо ушли; мать уродца сидела на земле, то пряча голову, то поднимая ее и глядя на всех так, точно без слов спрашивала о чем-то, чего никто не понимал.

Соседи сделали для уродца ящик – вроде гроба, набили его оческами шерсти и тряпьем, посадили уродца в это мягкое, жаркое гнездо и поставили ящик в тени на дворе, тайно надеясь, что под солнцем, которое ежедневно делает чудеса, совершится и еще одно чудо.

Но время шло, а он оставался всё таким же: огромная голова, длинное туловище с четырьмя бессильными придатками; только улыбка его принимала всё более определенное выражение ненасытной жадности да рот наполнялся двумя рядами острых кривых зубов. Коротенькие лапы научились хватать куски хлеба и почти безошибочно тащили их в большой, горячий рот.

Он был нем, но когда где-нибудь близко от него ели и урод слышал запах пищи, он глухо мычал, открыв пасть и качая тяжелой головой, а мутные белки его глаз покрывались красной сеткой кровавых жилок.

Ел он много и чем дальше – всё больше, мычание его становилось непрерывным; мать, не опуская рук, работала, но часто заработок ее был ничтожен, а иногда его и вовсе не было. Она не жаловалась и неохотно – всегда молча – принимала помощь соседей, но когда ее не было дома, соседи, раздражаемые мычанием, забегали во двор и совали в ненасытный рот корки хлеба, овощи, фрукты – всё, что можно было есть.

– Скоро он тебя всю обгложет! – говорили ей. – Почему ты не отдашь его куда-нибудь в приют, в больницу?

Она угрюмо отвечала:

– Я – родила его, я и должна его кормить.

Была она красива, и не один мужчина искал ее любви, все – безуспешно, а одному, который нравился ей больше других, она сказала:

– Я не могу быть твоей женою, боюсь родить еще уродца, это было бы стыдно тебе. Нет, уйди!

Человек уговаривал ее, напоминал ей о мадонне, которая справедлива к матерям и считает их сестрами своими, – мать уродца ответила ему:

– Я не знаю, в чем виновата, но – вот, наказана жестоко.

Он умолял, плакал и бесился, тогда она сказала:

– Нельзя делать того, во что не веришь. Уйди!

Он ушел куда-то далеко, навсегда.

И так много лет набивала она бездонную, неустанно жевавшую пасть, он пожирал плоды ее трудов, ее кровь и жизнь, голова его росла и становилась всё более страшной, похожая на шар, готовый оторваться от бессильной, тонкой шеи и улететь, задевая за углы домов, лениво покачиваясь с боку на бок.

Всякий, кто заглядывал во двор, невольно останавливался, пораженный, содрогаясь, не умея понять – что он видит? У стены, заросшей виноградом, на камнях, как на жертвеннике, стоял ящик, а из него поднималась эта голова, и, четко выступая на фоне зелени, притягивало к себе взгляд прохожего желтое, покрытое морщинами, скуластое лицо, тарачились, вылезая из орбит и надолго вклеиваясь в память всякого, кто их видел, тупые глаза, вздрагивал

широкий, приплюснутый нос, двигались непомерно развитые скулы и челюсти, шевелились дряблые губы, открывая два ряда хищных зубов, и, как бы живя своей отдельной жизнью, торчали большие, чуткие, звериные уши – эту страшную маску прикрывала шапка черных волос, завитых в мелкие кольца, точно волосы негра.

Держа в руке, короткой и маленькой, как лапа ящерицы, кусок чего-нибудь съедобного, урод наклонял голову движениями клюющей птицы и, отрывая зубами пищу, громко чавкал, сопел. Сытый, глядя на людей, он всегда оскаливал зубы, а глаза его сдвигались к переносью, сливаясь в мутное бездонное пятно на этом полумертвом лице, движения которого напоминали агонию. Если же он был голоден, то вытягивал шею вперед и, открыв красную пасть, шевеля тонким змеиным языком, требовательно мычал.

Крестясь и творя молитвы, люди отходили прочь, вспоминая всё дурное, что пережито ими, все несчастья, испытанные в жизни.

Старик кузнец, человек мрачного ума, не однажды говорил:

– Когда я вижу этот всё пожирающий рот, я думаю, что мою силу пожрал кто-то, подобный ему, мне кажется, что все мы живем и умираем для паразитов.

У всех эта немая голова вызывала мысли печальные, чувства, пугающие сердце.

Мать урода молчала, прислушиваясь к словам людей, волосы ее быстро седали, морщины являлись на лице, она давно уже разучилась смеяться. Люди знали, что ночами она неподвижно стоит у двери, смотрит в небо и точно ждет кого-то; они говорили друг другу:

– Чего ей ждать?

– Посади его на площадь у старой церкви! – советовали ей соседи. – Там ходят иностранцы, они не откажутся бросить ему несколько медных монет каждый день.

Мать испуганно вздрогнула, говоря:

– Это будет ужасно, если его увидят люди иных стран, – что они подумают о нас?

Ей ответили:

– Бедность – везде, все знают об этом!

Она отрицательно покачала головою.

Но иностранцы, гонимые скукой, шатались повсюду, заглядывали во все дворы и, конечно, заглянули и к ней: она была дома, она видела гримасы брезгливости и отвращения на сытых лицах этих праздных людей, слышала, как они говорили о ее сыне, кривя губы и прищурив глаза. Особенно ударили ее в сердце несколько слов, сказанных презрительно, враждебно, с явным торжеством.

Она запомнила эти звуки, много раз повторив про себя чужие слова, в которых ее сердце итальянки и матери чувствовало оскорбительный смысл; в тот же день она пошла к знакомому комиссионеру и спросила его – что значат эти слова?

– Смотря по тому, кто их сказал! – ответил он, нахмурясь. – Они значат: Италия вымирает впереди всех романских рас. Где ты слышала эту ложь?

Она, не ответив, ушла.

А на другой день ее сын объелся чем-то и умер в судорогах.

Она сидела на дворе около ящика, положив ладонь на мертвую голову своего сына, спокойно ожидая чего-то, вопросительно глядя в глаза каждого, кто приходил к ней, чтобы посмотреть на умершего.

Все молчали, никто ни о чем не спрашивал ее, хотя, быть может, многим хотелось поздравить ее – она освободилась от рабства, – сказать ей утешительное слово – она потеряла сына, но – все молчали. Иногда люди понимают, что не обо всем можно говорить до конца.

После этого она еще долго смотрела в лица людей, словно спрашивая их о чем-то, а потом стала такою же простою, как все.

## XI

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены города множеством красных глаз – они пылали злорадно, и это подстерегающее горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.

Со стен видели, как всё теснее сжималась петля врагов, как мелькают вокруг огней их черные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались веселые песни людей, уверенных в победе, – а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубил сады – город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты врагов осыпали его чугуном и свинцом.

По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая на полуслове речь друг друга, напряженно вслушивались – не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных гор выползали сине-черные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над черными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнуренные трудами и голодом, с каждым днем теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, черные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов – всё напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ.

Люди, увидав ее, спрашивали друг друга:

– Это она?

– Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробежали мимо нее, а начальники патрулей сурово предупреждали ее:

– Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на нее; вооруженные люди обходили ее, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и черная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя ее, жалобно ползали печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял ее сын, веселый и безжалостный красавец; еще недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рожденную ею в помощь людям города – гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали ее сердце с древними камнями, из которых предки ее построили дома и сложили стены города, с землей, где лежали кости ее кровных, с легендами, песнями и надеждами людей – теряло сердце матери ближайшего ему человека и плакало: было оно

подобно весам, но, взвешивая любовь к сыну и городу, не могло понять – что легче, что тяжелей.

Так ходила она ночами по улицам, и многие, не узнавая ее, пугались, принимали черную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая, молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды, в глухом углу, около городской стены, она увидела другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, подняв скорбное лицо к звездам, а на стене, над головой ее, тихо переговаривались сторожевые и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменника спросила:

– Муж?

– Нет.

– Брат?

– Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот – сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

– Мадонна всё видит, всё знает, и я благодарю ее!

– За что? – спросила первая, а та ответила ей:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.